

Блокадный быт был похож на пещерную жизнь. Во всех квартирах появились небольшие железные печурки. Их называли по-разному: буржуйками, таганками, времянками. На них грели воду, подсушивали хлеб и варили кое-какую еду. В лютые морозы это был единственный источник тепла.

У нас в доме и в большинстве домов на нашей улице отопление было печное. Но для печки-голландки дров требовалось много, поэтому мы тоже обзавелись маленькой печуркой. Поставили ее рядом с печкой, а трубу от нее вывели в дымоход. Летом 1941 года дровами запастись нам не удалось — их трудно было достать, и поэтому зиму с 1941 на 1942 год мы дожигали остатки дров, которые были у нас в сарае с прошлой зимы. Когда они кончились, мы стали жечь все, что могло гореть — случайные доски, которые кололи на лучины, фанерки, щепки, бумагу, книги. Книг сожгли много. Помню, мне очень не хотелось жечь собрание сочинений Пушкина, мне его подарили — это было старое издание 80-х годов прошлого века, в коричневых переплетах, — и я его сумела сохранить.

Печурка тепла не держала. Когда в ней что-нибудь горело, то было тепло — да и то только вблизи нее, но как только гас последний уголек, сразу наступал холод. Рядом в соседнем дворе росло несколько небольших тополей, и

никто не пытался их спилить или срубить на дрова. Ценили каждую щепочку, ломали и жгли мебель, покупали на Мальцевском рынке крохотные вязанки дров за большие деньги или за вещи, а деревья, которые были под боком, не трогали — ни в соседнем дворе, ни в маленьком скверике на пересечении улиц Маяковского и Некрасова, ни в других местах — тоже близко от дома, например, в садике на Литейном наискосок дома, где жили Некрасов и Добролюбов, или у родильного дома Снегирева на улице Маяковского. Таких мест, где были деревья, можно назвать много — и там, где мы жили, и в других районах города. Не думаю, что было какое-нибудь запрещение спиливать деревья. Я, во всяком случае, о таком не слышала. А спилить или срубить дерево было чем — почти у всех в сараях имелись и топоры, и большие двухручные пилы. Но легко сказать — спилить. Спилить дерево, разрезать и расколоть его на поленья — да еще на жутком морозе — это для истощенных, полуживых людей было не под силу.

У нас было две комнаты: большая — обшая и еще маленькая — моя. Зиму с 1941 на 1942 год мы все жили в одной комнате — большой. В ней был постоянный полумрак. Во время одной из крупных бомбежек почти все стекла из окон вылетели (бумажные полосы, которые наклеивали на стекла в виде косога креста, не спасали их), и окна зафанерили. Чудом сохранились стекла только в одном окне, в верхней части оконного переплета, который не раскрывался. Стекла там остались целыми и во внутренней раме, и в наружной, и через них в комнату шел свет. Интересно, что эти два стекла оставались целыми и при всех других сильных бомбежках, почему — не знаю.

Дома мы ходили в том, кто что имел — в ватнике или накинув шубу или пальто. Всегда в валенках, в шапке или закутавшись в платок. От того, что целыми днями не раздевались, во всем теле ощущалась постоянная тяжесть. Хотелось раздеться, но это было совершенно невыносимо из-за холода. И ложились спать не раздеваясь, а когда тревоги были одна за другой, то спали, не снимая валенок,

чтобы можно было сразу бежать в бомбоубежище. Днем, когда через верхние уцелевшие стекла шел свет, я могла разглядеть себя в зеркале туалетного столика, который стоял около окна. Тоненькая, высохшая, совершенно непохожая на себя. Деформированный овал лица, подпухлости, круги под глазами. И кожа тонкая, ветхая. Помню, что кожа легко оттягивалась — наверное из-за того, что не было никакой жировой прослойки — и было такое ощущение, что она может легко порваться. Зубы шатались, десны кровоточили и ныли — это была цинга.

Может быть, я ошибаюсь, но я не знаю, чтобы во время блокады у кого-нибудь из знакомых были простудные заболевания, чтобы кто-то болел ангиной, гриппом, воспалением легких. Это непонятно, потому что у людей было все, что способствует простудам: истощение, авитаминоз, постоянное переохлаждение. Но все недомогания были только желудочного характера — колиты, поносы. Когда электричество отключили, нам кто-то принес два самодельных светильничка. Такие светильники появились у всех, их мастерили из стеклянных флаконов и называли так, как они того заслуживали — коптилками. Чтобы экономить горючее, фитилек делали тонким, а горючим было все, что удавалась добыть — в основном это было минеральное масло и солярка; керосина почти не было. Доставали горючее для коптилок с большим трудом и только у спекулянтов. При мерцании коптилок умудрялись читать книги и даже шить.

Настоящие свечи были редкостью. Однажды я купила на улице самодельную свечу, принесла домой, зажгла, а она сразу же растаяла.

Когда наступили холода и водопровод замерз, за водой стали ходить на Фонтанку и на Неву. Вода добывалась тяжелым трудом, и ее старались экономить. Мыло тоже стало роскошью, и поэтому лишней раз руки не мыли, а часто и вообще не умывались. От печурок и коптилок шло много сажи. Она так крепко въедалась в поры кожи, особенно много ее оседало под носом около ноздрей, что

казалось, ее никогда не отмыть. От грязи стали появляться вши. Комнаты, как правило, не проветривались, боялись упустить даже малость тепла. И поэтому воздух в квартирах был застоявшийся, тяжелый. Он густо ударял, когда входили с улицы, с мороза. Тогда на это никто не обращал внимания. По сравнению с голодом и постоянными неотвязными мыслями о еде это было мелочью, не стоящей и упоминания.

Несмотря на холод, раз в две или три недели устраивали в комнате нечто вроде бани. Тело чесалось, и не мыться было уже опасно. Грели в кастрюле воду, стелили на пол рядом с печуркой старую клеенку и ставили таз. Сначала мыли голову, потом в этой же воде мыли тело. Мама мылась после меня и часто той же водой, которой перед этим мылась я. В январе 1942 года — так мне запомнилось — на Некрасовской улице открыли баню. Баня работала два раза в неделю. Некоторые шли в баню не только помыться, но и согреться, и сидели там целый день. Часто умирали в бане. Женщины и мужчины мылись вместе, в общем классе. Мама ходила в баню несколько раз, а я нет — стеснялась идти. Мама сердилась на меня и уговаривала пойти вместе с ней: «Ай, какие там мужчины, они уже ничего не видят».

Хотя воду и экономили, все равно два раза в неделю нужно было за ней ходить. Снег перетапливать боялись. Дворы были забиты грязным, слежавшимся снегом. Канализация в домах не работала, и всякие нечистоты выносились во двор и на улицу. Опасались инфекции — холеры, тифа, дизентерии, и поэтому, если снег перетапливали, то брали его с чистого места и только тогда, когда он был свежий. Но и в этом случае вытапливаемую воду использовали не для питья, а для обихода — постирать, помыться. За водой ходили с кем-нибудь вместе, чтобы можно было друг другу помочь. Чаще всего я ходила за водой с Тamarой — женщиной с нашего двора. Помню, что два раза ходила вместе с Кирой Лутугиной — один раз на Фонтанку и один раз на Неву, к Литейному мосту. На

Неву ходили потому, что поговаривали, что вода в Фонтанке нечистая и можно схватить какую-нибудь заразу.

Воду на Фонтанке мы брали около моста Белинского, напротив цирка. Там было нечто вроде полыньи или проруби. С набережной к ней спускались по ступенькам, вырубленным во льду. Воду зачерпывали бидоном, наполняли ведро, а потом поднимали ведро по ледяным ступеням и сами карабкались, помогая друг другу. Истощенные, опухшие от голода люди — в их числе старухи, старики, дети. Вода выплескивалась, обливала руки, ноги, и это на обжигающем морозе — до тридцати, до сорока градусов. Никакими словами этого не передать — все краски бледнеют. Ведра с водой я ставила на санки, а бидон несла в руках. У некоторых санок не было, и они в одной руке тащили ведро, в другой — бидон. Дорожки, протоптанные в сугробах, были залиты расплеснутой, заледеневшей водой. Идешь по этой дорожке, скользишь, боишься упасть. Видишь, как падают. И было постоянное ощущение, что это может в любой момент случиться с тобой — грохнешься и не встанешь. Кости были хрупкие, сломать руку или ногу — это была гибель.

Кажется, это было под конец декабря 1941 года. Рядом, на улице Жуковского, разорвалась тяжелая бомба. Она разрушила дом 3 и вскрыла водопровод — стала бить вода. К нам кто-то зашел: «На Жуковской вода есть». Мысли были сосредоточены на еде, на воде, а о том, что разбомбили дом, даже не упоминали. Вода эта залила ту часть улицы Жуковского, которая примыкает к Литейному, и дошла до улицы Чехова. Потом она замерзла. Пока вода шла, все, кто жил рядом, ходили и набирали ее. Я тоже ходила несколько раз и дома переливала воду в тазы, ведра, кастрюли.